

Л. Г. Дорофеева
Калининград

DOI: 10.15393/j9.art.2011.330

ГЕНЕЗИС ТИПА СМЕРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОВЕСТИ Ф. АБРАМОВА «ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ»: НОВОЗАВЕТНАЯ ТРАДИЦИЯ

Сегодня мало говорят о писателях-деревенщиках, и понятно почему: степень изученности высока, и эта проза еще недостаточно удалена во времени, чтобы искать в ней что-то новое.

Но сейчас, на наш взгляд, направление в литературоведении, обращенное к изучению религиозного контекста русской словесности, которое активно развивается, дает новый импульс к открытию глубинных смыслов хорошо известных произведений, позволяет увидеть духовную природу характеров, образов, вскрыть религиозные основы народного, национального типа героя.

Ф. Абрамов — писатель первого ряда в литературе 60—80-х годов XX века. Да и направление деревенской прозы, на наш взгляд, магистральное в литературном процессе этого двадцатилетия. И более, чем какое-либо другое, связано с национальными корнями, традицией. Н. А. Нерезенко рассматривает творчество Ф. Абрамова (и это можно отнести ко всей деревенской прозе) «как этап национального самосознания»¹. Следовательно, оно должно нести

в себе православный код, определивший генетику нашей культуры в целом. Эта мысль и определила нашу цель изучения очень известной повести Абрамова, а также способ изучения.

Мы не беремся судить о степени религиозности самого писателя, не стремимся ему ее «навязать» и пока не ставим задачи описания всего духовного контекста повести. В центре нашего внимания духовная природа народного (крестьянского) типа героя.

Характер главной героини, Милентьевны, справедливо и единодушно отнесенный к русскому национальному и идеальному женскому характеру, следует прочитывать в родном ему контексте национальной культурной традиции, выросшей на Священном Предании и зародившейся в лоне Церкви. Поэтому, определяя генезис характеров героев и самого произведения, мы помещаем текст повести в контекст Священного Предания (которое в нашей словесности широко представлено святоотеческой литературой и текстами древнерусской литературы, особенно агиографией) и Священного Писания. И обращаемся к ценностному анализу как основному методу изучения. В центре внимания герой, сюжет и те концептуальные понятия, которые определяют ценностное пространство основных героев, автора и соотносятся с «далеким контекстом понимания»².

Черты личности главной героини проговаривались не раз: терпение, смирение, жертвенность, любовь к труду, любовь к ближнему, целомудренность и цельность, совесть, правдолюбие... Но, чтобы обнаружить духовную природу этих свойств ее характера, их надо не просто перечислять, а увидеть связь, некую систему — живое единство внутреннего облика, составляющее духовное пространство персонажа.

² Приведем полную цитату: «По-видимому, и у русской литературы имеется "далекый контекст понимания", не сводимый ни к мифологической прародине, ни к псевдогенетическим обобщениям "малого времени". Может быть, выделение и последующее научное описание этого контекста — одна из приоритетных задач теоретической поэтики» (Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 5).

© Дорофеева Л. Г., 2011

¹ Нерезенко Н. А. М. Шолохов и Ф. Абрамов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2005. № 4. С. 106.

Сразу отметим: открыто о религиозности Милентьевны говорит всего один знак: после еды она «встала из-за стола и перекрестилась»³.

Обратимся к ценностному содержанию характера и рассмотрим, как выстраивается образ Милентьевны.

В зачине — в самом начале повествования, эпизоде «ожидания» ее приезда, задается как бы загадка: читатель еще не видит героиню, но понимает преображающую мир силу ее личности. Ожидание приезда «матери» приводит к дом к его обновлению, преображению, и тех, кто ее ждет:

Максим... равнодушный к своему хозяйству, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома... Евгения... все перемыла, перескочила... до блеска начистила (102—103).

Так с образом главной героини связываются категории *жизни, обновления, лада (т. е. цельности, гармоничности) и силы*.

В чем сила этой личности? Что в ней заставляет всех других преодолевать себя, как бы оживать? Почему вокруг нее *жизнь* всегда *есть*? («Мы-то с Максимом всегда оживаем, когда она приезжает...»), — говорит Евгения. И рассказчик: «Евгению я никогда не видел такой легкой и подвижной... чудо какое-то произошло, будто ее *живой водой* вспрыснули» (107—108).

Весь дальнейший текст, все движение сюжета и есть отгадка, если суметь ее прочитать.

Стержень сюжетного развития составляет история жизни, «встроенная» в канву событий сиюминутных — действие охватывает всего четыре дня. Основной метод раскрытия — аксиологический: взгляд на жизнь героини дается с разных ценностных позиций — невестки Евгении и самой Милентьевны. Рассказанная с перерывами, ее жизнь, ее ценностная позиция, проживается сейчас, в сиюминутном движении жизни, и оказывается действенной — передается как *способ жизни, принцип отношения к миру*.

Какой же это принцип?

³ Абрамов Ф. Деревянные кони. Повести и рассказы. Л., 1972. С. 119. Здесь и далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках. Курсив в цитатах наш.

На наш взгляд, главным качеством Милентьевны, сердцевиной ее характера и *способа жизни* является **смирение**. Но что это такое, смирение? Какова его природа, и каково смысловое наполнение этой ценностной категории в контексте повести? Вопрос не простой, если даже святые отцы говорят о том, что «словами его (смирение) невозможно изъяснить»⁴.

И тем не менее, опираясь на ряд высказываний святых отцов о смирении, раскрывающихся в сочетании с другими близкими ценностными понятиями, можно выделить, во-первых, условно говоря, «*признаки*» *смирения* («просто-та», «будучи неповинен, всегда сам себя осуждает», «не считать за что-либо добрые дела, вменяя их в мерзость», ненависть к славе и похвале, отсутствие раздражительности и гнева:

Смиранные люди в духе ни на кого и мысленно не досаждают не ропщут, но за все Бога благодарят»⁵.

Во-вторых, *пути (или методы) достижения смирения* («послушание и правость сердца, которые естественно сопротивляются возношению», «нестыжательность, уклонение от мира, утаение своей мудрости, простота речи, прошение милостыни, скрытия благородия, изгнание дерзновения, удаление многословия»⁶).

И в третьих, **плоды достигнутого человеком смирения**. («Смираннымудрый — «кроток, приветлив, удобоумилен, милосерд, паче же всего *тих*, благопокорлив, беспечален, бодр, неленостен, и... бесстрастен»⁷. Преп. Антоний Оптинский, цитируя Исаака Сирина, говорит о том, что «в смиренном человеке никогда не бывает поспешности, торопливости, легкомыслия и смущения, но во всякое время пребывает он *в тишине и покое*»⁸. Без кротости и смире-

⁴ Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994. Репринт. Слово 4. С. 41.

⁵ Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев: В 2 т. Т. II. Введенский ставропигиальный мужской монастырь. Оптина Пустынь, 2006. С. 327.

⁶ Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 25. С. 174.

⁷ Там же. С. 165.

⁸ Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев. Т. II. С. 335.

ния «не точию Царствия Небесного наследовать, но ни счастливым быть на земли, ни душевного спокойствия ощутить в себе невозможно»⁹.

Каноническое основание спасительной добродетели смирения мы находим в Евангелии — в образе Богородицы, смирение Которой лежит в основании спасения человечества: «Се раба Господня, буди Мне по глаголу твоему», — произносит дева Мария (Лк. 1:38) и дальше возвеличивает Господа:

...яко призре на смирение рабы своя...

Наконец, главное заключается в словах Спасителя:

Научитесь от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обряцете покой душам вашим (Мф. 11:29).

Здесь выделяются три важнейшие категории: *кротость, смирение и покой*.

Состояние смирения дает мир душе, равновесие всех ее сил, внутреннюю гармонию — блаженство.

Итак, притом, что дать определение смирения невозможно, все же увидеть его проявления, по которым можно его описать, определить в какой-то степени объем этого понятия и есть ли это качество в герое, можно.

В чем проявляется смирение Милентьевны?

Если говорить об истории ее жизни — в каждом повороте ее судьбы мы видим *отказ от себя, своей воли*, причем без всякой рефлексии — смирение есть естественное состояние ее души: выдали замуж «из-за шубы и шали» в семью, дикую до жестокости, разгульную (одним словом, «урвай»), мужа не любила, но все приняла как необходимость и данность, без ропота, бунта. Мужу своему выстрел, которым тот ее чуть не убил, простила, отвела «смертоубийство». И звучит оценка Евгении: «...умница-разумница в свои-то 16 лет» (116). Почти еще девочка, она поступает мудро, а истинная мудрость рождается только из христианского смирения, о чем пишут святые отцы. И плоды ее мудрости таковы: перемена жизни всей семьи, преобразование тех, кто с ней рядом жил и живет, умирение окружающего ее мира.

Кульминацией в отношениях с семьей мужа можно считать эпизод ареста свекра — Оники Ивановича, вставшего перед ней на колени в порыве благодарности за то, что их «людьми сделала» и обещая «всю жизнь, до последнего вздоха благословлять» (128).

Прочитывать данный текст нужно с учетом особенностей художественного пространства повести, которое включает в себя следующие контексты: **исторический**, современный автору — вымирающей деревни 60-х годов и связанной с этим проблематики, общей для всех «деревенщиков»: социальных, идеологических, политических и других причин гибели деревни (коллективизация, раскулачивание, слияние города и деревни как воплощение идеи научно-технического прогресса) и **духовный**, проявляющийся в ценностном пространстве героя, связанный с изображением смены типа сознания, его трансформации в ценностном плане. Здесь особенно ясным становится отсутствие единства мира, того мира деревни, который был в историческом прошлом всегда цельным, скрепляемым устойчивой системой ценностей, духовной традицией и в поисках остатков которого приехал в Пижму герой-повествователь. По сути дела, в повести представлены три ценностных и духовных мира: *мира Милентьевны*, и в ней — русского крестьянства; *мира «урваев»*, который маркируется словами «дикость», «орда», «зверушник» и ассоциируется с низким полюсом национального характера, связанного с языческими корнями — стихийности, дикости, буйства, своеволия; и *мира Евгении с мужем Максимом*, а также теми, кто причастен к так называемой новой — советской — «формации» людей. Этих героев сопровождают безрадостность, бессмысленность, бездуховность, даже унылость в отношении к жизни.

Интересно, что, дистанцируясь от мира «урваев», признавая несомненность ценностных приоритетов жизненной позиции Милентьевны, Евгения не замечает, как ее собственный мир — причем совершенно не случайно — одновременно перекликается и находится даже в одном духовном пространстве с «урваями». Есть знаки, объединяющие их: лексика Евгении груба, так же стихийна, страстна: «чего рассусоливать» (114), «выставили свои поганые

⁹ Там же. С. 334.

зады» (118) (про дома в Пижме, стоящие к реке озадками), «чертоломить» «уперлась», «лешачить» (128) (о Милентьевне, ушедшей по грибы). Это же проявляется и во внешности, манере: глаза «черные сухи... неистово округлились», «впилась своим пылающим взглядом в свекровь» (115) «не без злорадного торжества» (114) и т. д.

Становится очевидным и основной внутренний конфликт повести, который носит, прежде всего, ценностный характер — мира Милентьевны и мира окружающих ее людей, но который удивительным образом оказывается вовсе не конфликтом, а их **встречей** — еще одна важнейшая ценностная категория в повести.

Мотив встречи звучит в самом начале повести и уже там носит характер обобщения:

Чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну... только я один в эти минуты клял приезд старухи (103).

Затем этот мотив развивается в ряде сюжетных ситуаций: во встрече Милентьевны с героем-повествователем, с семьей мужа, наконец, с собственной судьбой, в которой было много горя, убитые на войне сыновья, смерть дочери, порешившей себя из стыда, — тихой и кроткой Саши. И это надо было все прожить и *принять* как свою жизнь.

Что же происходит в результате *встречи* Милентьевны с миром, чаще по отношению к ней враждебным? Неприятие, сопротивление, удивление, возмущение от непонимания, возникающее в героях в первый момент встречи с ней, так отличающейся от остальных, угасают, утихают, будто растворяются без всякого насилия — в море кротости, любви и терпения, не смиряющемся лишь с одним — с неправдой. К этому стоит привести цитаты из преподобного Иоанна Лествичника:

Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительности, о которую разбиваются все волны, к ней приражающиеся, а сама она не колеблется.

Кротость есть спешница послушания, путеводительница братства, узда неистовству, пресечение гнева, подательница радости, подражание Христу, свойство ангельское, узы на

бесов и щит противу огорчения... незлобие есть *тихое устройство души*, свободной от всякого ухищрения¹⁰.

И здесь мы подошли к главному признаку смирения — **тихости, тишине**, качеству, свойственному, по слову святых отцов, «смирennemудрому» (напомним цитату, приведенную выше: смирennemудрый «паче же всего *тих*» и «пробывает он в *тишине и покое*») и органично присущему Милентьевне.

Категория тишины в святоотеческой литературе осмысливается как внутреннее состояние человека, достигшего кротости и смирения. Она явлена в Евангелии не в прямом словесном выражении, но в самом образе поведения Спасителя, Матери Божией. В эпизодах утихомиривания бури, когда плыл Христос в лодке с учениками, в Его ответах Пилату, в самом Его образе кротости и смирения. Состояние тихости как внутреннего мира связано прежде всего со смирением. Преподобный Иоанн Лествичник пишет:

Незлобие есть *тихое устройство души*, свободной от всякого ухищрения¹¹.

Тихая душа вместит слова премудрости¹².

О «тихости» героев древнерусской литературы ранних веков и, прежде всего, агиографических памятников (до XVI века) говорит А. С. Демин, правда, не раскрывая генезиса этого качества души. Повесть об Ульяне Осорьбиной он называет повествованием «о тихом домашнем благочестии»¹³. Об этой же особенности древнерусской литературы до XVII века говорит и Д. С. Лихачев как о стиле «психологической умиротворенности». Он сравнивает образ Февронии в «Повести о Петре и Февронии» с «Троицей» Андрея Рублева и видит ее сходство с «тихой гармонией Троицы», так как «между ее чувством, умом и волей нет конфликта: отсюда необыкновенная «тишина» ее образа»¹⁴.

¹⁰ Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 24. С. 158—159.

¹¹ Там же. Слово 24. С. 17.

¹² Там же. С. 11.

¹³ Демин А. С. О художественности древнерусской литературы. М., 1988. С. 189, 309.

¹⁴ Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1986. С. 103.

Категория **тихости** является чрезвычайно важной, даже определяющей облик Милентьевны и знаком ее основного качества — **смирения**.

Мотив тишины в повести появляется в самом начале: герой-рассказчик уехал от мира современного в Пижму в поисках «заповедной тишины» (103), искал ее в прошлом крестьянской жизни, уже по сути отказывая ей в возможности настоящего. Но встретил то, что искал, не в эстетико-этнографических наслаждениях предметами крестьянского труда и быта — отголосками крестьянского уклада жизни, сохранившимися в старом доме, а в самой Милентьевне, которую характеризует именно это качество — тихость, или внутренняя тишина, или внутренний мир, равновесие всех ее сил. Милентьевна «тихо ответила» (130), «тихонько постанывала на печи» (131) после похода в лес на Богатку, в ее голубых глазах «благодное удовлетворение и тихое счастье» (109) после проделанной работы, реплики ее в диалогах с Евгенией кратки и кротки. И даже мгновение гнева, вызванного репликой Евгении о ее первой брачной ночи, нарушившее чувство целомудрия старухи Милентьевны, передается словами:

...как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками... (114).

Заметим, тихость как качество ее внутреннего облика не противоречит твердости, цельности и силе характера.

Цельность образа Милентьевны также обусловлена именно смирением и не разрушается даже в тех случаях, когда сама героиня включает свое воспоминание в ценностный контекст современной жизни — «нонешний», будто бы соглашаясь с ним:

Народ нынче грамотный, за себя постоит, а мы смолodu не знали воли (115).

Но опровержение правоты этой ценностной установки, высказанной Милентьевной, звучит в дальнейшем рассказе Евгении о жизни свекрови и в ее оценке поступка Милентьевны, когда та, будучи почти девочкой, стала женой «урвая»: «...я бы засудила и засадила» (116), а она «умница-разумница» — простила.

И все же один штрих в создании этого женского образа требует оговорки. Слово автора, на наш взгляд, порой нарушает органику образа своей прямой характеристикой:

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремниевым характером (137).

На протяжении всего текста Абрамов рисует характер, сильный своей способностью любить других, жить не для себя, терпеть и смиряться, причем смирение здесь истинно христианское, так как все в своей жизни она подчиняет закону милосердия, созидания жизни через самопожертвование, и в этом для автора правда, а потому и сила. Но сам автор-повествователь не видит логики этой зависимости *силы от смирения*.

По слову Александра Ельчанинова, нет большей силы, чем смирение. Твердость характера Милентьевны и истекает из ее глубокого и истинного смирения — перед высшими ценностями. Это проявляется в эпизоде отъезда Милентьевны, когда, в нарушение всякого здравого смысла, она отправляется в близящуюся ночь, непогодь, холод и безлюдье. Главный мотив ее поступка — любовь и чувство долга перед внучкой, которой она «слово дала» и которую жалеет больше себя. Поэтому и включается в сюжетное действие *чудо* появления машины на пустынной лесной дороге, чего и ждать нельзя было. Автор так и говорит:

С этой машиной... повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось (138).

В эпилоге вновь звучит идея преобразующей силы характера Милентьевны, идея жизни выдвигается на первое место, смысл которой не в игре в прошлое, не в собирании знаков ушедшей жизни, а в делании добра в настоящем. Традиционные ценности не могут сохраняться как музейная ценность, они должны определять собой способ жизни.

В книге мы встречаемся с образом, уже практически завершенным: близок финал жизни героини, развития образа нет. Образ Милентьевны статичен, неизменен. Но эта

статичность напоминает статичность иконы. Напомним, что для изображения святого характерна так называемая «неподвижность», которая объясняется равновесием всех его сил, состоянием душевной гармонии. Но движение при этом, конечно, есть, и оно происходит в духе. Очевидно сходство нашей героини с образом святых жен — Февронии Муромской в «Повести о Петре и Февронии» и Ульянии в «Повести об Ульянии Осорьбиной».

В портрете Милентьевны явно просматриваются иконописные черты: «худое тонкое лицо... до бледности промытое... обильными туманами», «благодное удовлетворение и тихое счастье в ее голубых, слегка прикрытых глазах», и связывается это состояние благости и внутреннего мира с проделанной работой.

Автор типологизирует образ, акцентируя идею крестьянского труда как подвига, ведущего к гармонизации личности. Он вспоминает свою «покойную мать», у которой «бывало, вот так же светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой» (109). Труд связывается с идеей смысла жизни («потрудившегося... доказавшего себе и людям, что он еще не зря на этом свете живет») и является категорией не только нравственной, но и духовной, генезис которой определяется заповедью, данной Богом человеку.

Но мы, конечно, ни в коей мере не говорим о святости героини, лишь обнаруживаем те «гены», которые лежат в основании национального характера, определяя всем хорошо известные качества русского человека в его высшем проявлении, явленном в святости праведных, изобразивших в себе Христа.

Абрамов показал логику трансформации национального сознания с возможным разрушением ментальности при отрыве от источника, его питающего, — веры во Христа и православия, определявшего способ жизни человека. Милентьевна еще несет в себе эту связь, и потому — жизнь, способную передаваться и другим. А вот уже Евгения и другие герои, теряя эту внутреннюю духовную связь и выпадая из традиционного ценностного пространства, оказываются в пространстве безблагодатном.

Деревенская проза потому и причастна русской классической литературе, потому и стала составной частью магистрального пути русской словесности, что сумела выразить доминантные свойства народного характера, генезис которых восходит к Евангелию и всей новозаветной традиции, питающей русскую культуру.